

– Терезина здесь?

Камердинер, с редкими волосами на гладком черепе, ещё только просовывающий руки в рукава сорочки, но уже нацепивший высокий воротник, изогнул густые брови, – они были словно усы, которые он передвинул с гладковыбритой верхней губы, чтобы не потерять, – и с головы до ног оглядел парня, стоявшего перед ним на лестничной площадке. Тот был крестьянского вида, с поднятым до ушей воротником грубой шинели, и с багровыми руками, покрасневшими от холода, в одной из которых он держал грязный мешок, а в другой, словно в противовес ему, – старый чемодан.

– Кто такая Терезина?

Парень сначала потряс головой, чтобы стряхнуть каплю с кончика носа, потом ответил:

– Терезина, певица.

– Вот как, – воскликнул камердинер с удивлённой и ироничной улыбкой, – Её вот так и зовут, просто Терезина? А ты кто будешь?

– Она здесь, или нет? – спросил парень, хмуря брови и задирая нос. – Скажите ей, что здесь Микуччио, и дайте мне войти.

– Но никого нет, – снова заявил камердинер, и улыбка остыла на его губах. – Синьора Сина Марнис ещё в театре и...

– Тётка Марта, в таком случае? – прервал его Микуччио.

– Ах, Вы родственник? В таком случае, это меняет дело... Никого нет. Она тоже в театре, Ваша тётя. Они сегодня поздно вернуться. Сегодня вечер в честь синьоры... И кем же она Вам приходится? Кузина, может быть?

Микуччио на мгновение смутился.

– Я не родственник,.. Я Микуччио Бонавино, она меня знает... Я специально приехал из деревни.

Услышав этот ответ, камердинер, прежде всего, отказался от обращения к Микуччио на «вы», и вернулся к обращению на «ты»: он провёл его в тёмную комнатёнку возле кухни, где кто-то оглушительно храпел, и сказал:

— Сиди здесь. Сейчас принесу лампу.

Микуччио сначала посмотрел туда, откуда раздавался храп, но ничего не смог разглядеть, потом заглянул в кухню, где повар с помощью мальчика-посудомойщика готовил ужин. Смесь запахов от готовящихся блюд сразила Микуччио, вызвав почти головокружение: мало сказать, что он был голоден — он ехал сюда по железной дороге всю ночь и целый день, — и с прошлого утра ничего не ел.

Камердинер принёс лампу, и та особа, что храпела за занавеской, проворчала сквозь сон:

— Кто там ещё?

— Эй, Дорина, вставай! — позвал камердинер, — Смотри, здесь сеньор Бонвичино...

— Бонавино, — поправил Микуччио, подняв вверх палец.

— Бонавино, Бонавино... Знакомый синьоры. Ты крепко спишь: звонят в дверь, а ты не слышишь... Я занят приготовлениями, и не могу всё делать один, понимаешь? Присматривать за поваром, который понятия не имеет, что за люди приедут...

Было слышно, как та, кого звали Дориной, громко зевнула, с удовольствием, до хруста в конечностях, потянулась, и лишь затем воскликнула вслед камердинеру, который уже удалился:

— Да ладно, ладно!

Микуччио улыбнулся и проследил взглядом через всё помещение, погружённое в полутьму, вплоть до входа в большой ярко освещённый зал, где возвышался обеденный стол; он удивлённо созерцал его до тех пор, пока новый взрыв храпа за занавеской не отвлек его.

Камердинер с полотенцем на сгибе руки ходил туда-сюда, ворча, то ли на Дорину, снова преспокойно уснувшую, то ли на повара, который был нанят, должно быть, специально на этот вечер и докучал ему постоянными расспросами. Микуччио из осторожности, чтобы не раздосадовать его ещё больше, придерживал про себя вопросы, что приходили ему на ум. Он мог бы сказать или же каким-то образом дать понять этому камердинеру, что он жених Терезины, но не хотел этого делать, сам не зная,

почему. Разве, возможно, потому, что этот камердинер тогда должен был бы обращаться к нему, к Микуччио, как к хозяину, как если бы он был непринуждённый и элегантный синьор, хотя и без фрака; и Микуччио не мог победить смущения от одной только мысли об этом. В какой-то момент он, однако, не удержался и спросил:

— Извините... этот дом, он чей?

— Наш, пока мы здесь, — не задумываясь ответил камердинер.

И Микуччио осталось только схватиться за голову.

Чёрт возьми, так это правда! Вот ведь поймала удачу. Ну и дела. Этот камердинер, что сам казался большим синьором, повар и мальчик-посудомойщик, эта Дорина, что всё ещё там храпела: вся прислуга принадлежала Терезине... Кто бы мог подумать?

Он снова мысленно видел жалкий, убогий, мрачный чердак, там, в Мессине, где Терезина жила с матерью... Пять лет назад на том далёком чердаке, если бы не он, мать и дочь умерли бы с голоду. И он, именно он, открыл этот клад — голос Терезины!

Она пела всегда, под любой случайной крышей, не ведая, каким сокровищем обладает: пела назло обидам и оскорблениям, пела, чтобы не думать о нищете и бедах, а он всегда, как мог, стремился поддержать её, не смотря на враждебность своих родных, особенно матери. Мог ли он оставить Терезину тогда, после смерти её отца? Бросить её только потому, что у неё не было ничего, в то время как он, худо-бедно, имел место флейтиста в городском оркестре? И чего бы стоило тогда его сердце?

Ах, это было время истинного вдохновения, намеков судьбы, между тем как голос её ещё никем не был замечен. В тот прекрасный апрельский день Терезина стояла у окна на чердаке, в обрамлении яркой лазури неба. Она напевала страстную сицилийскую песню, слова которой Микуччио помнил до сих пор. Она была грустна в тот день — из-за недавней смерти отца, из-за враждебности его родных. Он вспомнил — такая грусть звучала в её голосе, в её песне, что даже слезы невольно выступа-

ли на глазах. Он не раз слышал эту песню, и до этого и после, но в такой манере — никогда. Он был настолько поражен, что на следующий день, не предупредив ни саму Терезину, ни её мать, привёл к ним на чердак дирижёра их оркестра, своего друга.

Так начались для Терезины первые уроки пения; и в течение двух лет подряд он тратил на неё почти всё своё жалование: он взял в аренду фортепьяно, покупал ноты и даже нашёл подходящего, дружески настроенного учителя музыки. Далёкие прекрасные дни! Терезина вся горела желанием лететь вперёд, в яркое светлое будущее, что предрекал ей маэстро, и в то же время, была полна благодарности и горячей ласки к нему, — так что он уже грезил о совместном счастье!

Тётка Марта, напротив, лишь горько качала головой: бедная старая женщина, она видела многое в своей жизни, и больше не имела веры в светлое будущее: она боялась за дочь и не хотела, чтобы та даже думала о возможности такой неверной судьбы. И потом, она знала, знала, во что обходится ему безумие этой опасной мечты.

Но ни он, ни Терезина не слушали её, и напрасно она протестовала, когда молодой композитор, услышав Терезину на концерте, объявил, что было бы истинным злодеянием не дать ей лучших учителей и полноценного артистического образования: в Неаполь, необходимо отправить её в консерваторию в Неаполе, сколько бы это ни стоило!

И тогда он, Микуччио, разругавшись в пух и прах с роднёй, продал усадьбу, оставшуюся ему в наследство от дяди-священника. Таким образом Терезина смогла поехать в Неаполь и завершить обучение.

С тех пор они не виделись больше: они договорились, что расстанутся на пять, шесть лет — на время, нужное каждому из них, чтобы идти своей дорогой свободно. Они оба были молоды и могли подождать. Микуччио получал от неё письма из консерватории, а потом — письма от тётки Марты, когда Терезина уже окунулась с головой в артистическую жизнь — после

своего дебюта, оглушительного успеха в оперном театре Сан Карло. В конце каждого из тех трепетных писем, нацарапанных неуверенной рукой тётки Марты на самой лучшей бумаге, всегда была пара словечек от неё, от Терезины, которая теперь никогда не находила времени, чтобы писать письма: «Дорогой Микуччио, подтверждаю всё, что тебе сказала мама. Будь здоров и пожелай мне удачи». Эти письма все прошедшие пять лет он демонстрировал каждому, кто хотел их видеть, чтобы истребить клевету, что распространяли его родственники о Терезине и её матери.

Потом он заболел. Он был при смерти, и без его ведома тётка Марта и Терезина послали на его адрес большую сумму денег: часть её ушла на лечение, но остаток он, выздоровев, силой вырвал из рук своих родственников, и теперь, вот, приехал отдать Терезине. Потому что деньги — ничто! Он их не хотел. Не потому, что считал это милостыней, он, уже так много потративший на неё; но... ни за что! Он сам не мог это объяснить, и теперь — ещё менее чем когда-либо, тут, в этом доме... Деньги — ни за что!

Он ждал так много лет, мог и ещё подождать... Но что, если деньги Терезины потому имели остаток, что это знак: будущее наступило, и пришло время исполнить старые обещания, вопреки мнению тех, кто не хотел в это верить?

Микуччио, хмуря брови, поднялся на ноги, словно утверждая себя в этом выводе; потом снова подул на ледяные руки и потопал ногами.

— Холодно? — спросил проходящий мимо камердинер. — В кухне будет теплее, пройди туда. Сразу станет лучше.

Микуччио не захотел последовать совету камердинера, который выглядел, как большой синьор, что смущало и раздражало Микуччио. Он вернулся на место и сел, погрузившись в тревожные мысли. Немного погодя громкий звонок заставил его вздрогнуть.

— Дорина! Синьора! — оповестил камердинер, на ходу поспешно и яростно влезая во фрак, и бросаясь к двери открывать; но видя, что Микуччио собрался следовать за ним, резко

остановился и сказал:

– Ты останься здесь, сперва нужно о тебе доложить.

– Охи, охи, охи,.. – застонал сонный голос из-за занавеси; и вслед за ним оттуда, подтаскивая затёкшую ногу, появилась крупная приземистая женщина, не успевшая ещё продрать глаза и замотанная в шерстяной платок до самого носа, из-под которого торчали крашенные жёлтые волосы.

Микуччио рассматривал её. И она тоже с большим удивлением уставилась на чужое незнакомое лицо.

– Синьора, – напомнил Микуччио.

Дорина мгновенно опомнилась:

– Вот она я, вот она я, – пробормотала она, стаскивая платок и бросая его за занавеску, и со всем проворством, доступным этой тучной особе, устремилась ко входу.

Появление этой ведьмы и обращение с ним камердинера вызвали у подавленного Микуччио тягостные предчувствия. Он услышал срывающийся голос тётки Марты:

– Сюда, в зал! В зал, Дорина!

Камердинер и Дорина прошли мимо него, неся великолепные корзины цветов. Микуччио вытянул шею, чтобы заглянуть в глубину ярко освещённого зала, и увидел множество господ во фраках; смутно долетал до него гул их голосов. Его зрение и без того было затуманено от сильного волнения, так что он не заметил сам, как его глаза наполнились слезами: он закрыл их и сжался в этой наступившей темноте, сопротивляясь муке, которую вызвал в нём долгий пронзительный взрыв смеха. Терезина смеялась там, в зале.

Подавив крик, он открыл глаза снова и увидел перед собой – неузнаваемую, – тётку Марту в шляпке, выглядящей нелепо на её голове, и в богатой, придавившей её, мантилье из бархата.

– Как! Микуччио... ты здесь?

– Тётка Марта,.. – воскликнул Микуччио почти испуганно, разглядывая её.

– Как же так! – продолжала она расстроено. – Без предупреждения? Где ты остановился? Когда ты приехал?.. Верно, этим

вечером... О, Боже, Боже...

– Я приехал, чтобы,.. – Микуччио запнулся, не зная, что ещё сказать.

– Подожди! – прервала его тётка Марта. – Что же делать? Что же делать? Видишь, сколько людей, сынок мой? Это праздник в честь Терезины... Её вечер... Подожди, подожди немного здесь...

– Если Вы, – попытался сказать Микуччио, которому тоска сжимала горло, – если Вы считаете, что я должен уйти...

– Нет, подожди немного, что ты говоришь, – торопливо ответила добрая женщина, совершенно смешавшись.

– Хотя я, – добавил Микуччио, – не знал бы, куда идти в этом городе в такое время...

Тётка Марта остановила его, рукой в перчатке сделав жест, призывающий его подождать, и вошла в зал, имевший для Микуччио вид развершейся бездны; там сделалась тишина. Потом он услышал, ясно и отчётливо, следующие слова Терезины:

– Одну минуту, господа.

Взгляд его снова затуманился перед неизбежностью её появления. Но Терезина не появилась, и разговор в зале возобновился. Вместо этого, спустя несколько минут, которые показались ему бесконечными, вернулась тётка Марта – без шляпки, без накидки, без перчаток, – и менее растерянная.

– Подождём немного здесь, ты доволен? – спросила она. – Я останусь с тобой... Мы сейчас поужинаем. Побудем тут. Дорина накроет для нас этот столик, и поужинаем вместе, здесь, вспоминая хорошие времена, да?.. Мне это кажется нереальным – видеть тебя здесь, сыночек мой, здесь, так далеко... Там, пойми, большие синьоры... Она, бедняжка, не может ничего поделать... Карьера, ты понимаешь? Эх, что делается!.. Ты видел газеты? Большие дела, сын мой! Я как посреди бушующего моря всегда... Мне всё никак не верится, что я могу побыть здесь с тобой этим вечером.

И пожилая женщина инстинктивно говорила и говорила, что-

бы не дать Микуччио времени думать, и, наконец, он улыбнулся, потёр руки, и взгляд его смягчился.

Дорина появилась, чтобы накрыть на стол с поспешностью, потому что там, в зале, уже начался ужин.

— На самом деле можно? — наконец, спросил Микуччио мрачно, голосом тоскливым и тревожным. — Я говорю, чтобы увидеть её хотя бы?

— Конечно, можно, — мгновенно ответила тётка Марта, заставляя себя преодолеть скованность. — Едва только выдастся свободная минутка, она уже сказала мне.

Они смотрели друг на друга, эти двое, и улыбались, будто, наконец, друг друга узнавая, будто сквозь неловкость и волнение их души нашли путь друг к другу и приветствовали друг друга посредством тех улыбок. «Вот тётка Марта», — говорили Микуччио его глаза. «Ты — Микуччио, мой дорогой, мой хороший сыночек, всё такой же, бедняга!» — говорили глаза тётке Марте. Но мгновение спустя пожилая женщина опустила взгляд, чтобы Микуччио не прочёл в нём остальное. Она снова потёрла руки и сказала:

— Может, поедим?

— Как же я проголодался! — воскликнул, повеселев, Микуччио.

— Это наказание просто: здесь я могу дать тебе фору, — добавила пожилая женщина, закатив глаза и перекрестившись с видом вредным и непослушным.

Появился камердинер чтобы подать им первое блюдо. Микуччио осторожно наблюдал, как тётка Марта протягивает тарелку за своей порцией. Но когда пришла очередь ему самому протянуть тарелку, он вспомнил, что руки у него грязные после долгого путешествия, покраснел и, смутившись, поднял глаза на камердинера, который отвесил ему лёгкий поклон и улыбнулся, как бы приглашая воспользоваться его услугами. К счастью, тётка Марта вывела его из затруднения.

— Сейчас, сейчас, Микуччио, я помогу тебе.

Если бы он мог расцеловать её в благодарность! Получив



свою порцию, едва только камердинер удалился, он тоже с поспешностью перекрестился.

— Bravo, сыночек! — сказала ему тётка Марта.

Микуччио почувствовал себя блаженно и принялся за еду так, будто не ел никогда в жизни своей, не думая больше ни о своих руках, ни о камердинере.

Однако каждый раз, как распахивались стеклянные двери зала, кто-нибудь входил или выходил, и его слуха достигала волна людских голосов или взрыв смеха, он прерывался и потом ловил сострадательный и ласковый взгляд старой женщины, будто ища у неё объяснения. Но там, в её глазах, он читал мольбу не требовать объяснений теперь, оставить объяснения на потом. И эти двое снова улыбались друг другу, и смирялись, и возвращались к еде и к разговорам о далеком родном крае, о друзьях и знакомых, о которых тётка Марта расспрашивала без конца.

— Не выпьешь? — спросила она.

Микуччио протянул руку за бутылкой, но в этот момент дверь в зал снова открылась; сопровождая торопливые шаги, зашеле-стел шёлк, и комната будто внезапно осветилась, почти ослепив его.

— Терезина...

Слова замерли у него на губах от изумления. Ах, что за королева!

С пылающим лицом, замутнёнными глазами, с открытым ртом он созерцал её. Никогда раньше она не была... такой! Обнажённая грудь, обнажённая спина, руки обнажённые... Вся в сверкании драгоценных камней и тканей... Она не выглядела, не выглядела больше как человек, который жил когда-то рядом... Что она говорит?.. Ни голос, ни глаза, ни смех: ничего больше нельзя было узнать в ней, в этой явившейся мечте.

— Как ты? Чувствуешь себя теперь хорошо, Микуччио? Молодец, молодец... Ты был болен, если я не ошибаюсь... Мы поговорим ещё вскоре. Ладно, с тобой здесь мама... Увидимся...

И Терезина снова ускользнула в зал, вся в шелесте и шуршании шелков.

— Ты не ешь больше? — спросила, наконец, тётка Марта боязливо, чтобы нарушить ошеломлённое молчание Микуччио.

Тот выглядел потрясённым.

— Поешь, — настаивала пожилая женщина, кивая на блюдо.

Микуччио просунул два пальца под воротник, засаленный и мятый, и издал звук, будто с трудом глотая что-то большое, потом тяжело вздохнул.

— Поесть?

Он несколько раз дотронулся пальцами до шеи под подбородком, как если бы знаками хотел показать: у меня кусок застрял в горле, — всё ещё находясь под властью видения, потом прошептал:

— Вот так случай...

И увидел, как тётка Марта горько покачала головой. Она тоже прекратила есть, как бы дожидаясь его.

— Не ожидал такого,.. — добавил он почти про себя, закрывая глаза и погружаясь в темноту.

Он видел теперь там, в этой темноте, пропасть, что разверзлась между ними. Нет, это не была больше она — та, что в зале, — его Терезина. Всё было кончено... всё это время, всё это время всё уже было кончено, и он глупый, он — глупец, если понял это только теперь. Там, на родине, ему все это говорили, а он, упрямый, не хотел верить... И только сейчас поверил, при взгляде на эту нездешнюю фигуру. Если бы все эти синьоры в зале, если бы этот камердинер — все они, — знали, что он, Микуччио Бонавино, мелкая сошка, ехал в такую даль, целых тридцать шесть часов по железной дороге, всерьёз всё ещё полагая себя женихом этой царицы, — как смеялись бы те синьоры, тот камердинер, и повар, и мальчик-посудомойщик, и Дорина! Как бы смеялись, если бы Терезина притащила его туда, в зал, и объявила: «Смотрите, этот бедняга-флейтист говорит, что хочет стать моим мужем!» Да, она ему обещала, но как она могла знать тогда, что однажды всё станет так? И это было так же верно, как и то, что её давнее обещание заставило его пуститься в путь. Но проделав такой долгий, долгий путь, он остался всё тем же, кем был все-

гда — флейтистом в оркестре, играющем на городской площади, чего ещё он мог достичь? О большем можно даже не мечтать!

Но что же в таком случае значили те небольшие расходы на его лечение для неё, ставшей теперь важной дамой? Ему было стыдно даже подумать о том, что кто-нибудь может заподозрить его в том, что он приехал только из-за этих немногих жалких денег... Но в этот момент он вспомнил, что деньги и впрямь лежали в его кармане — те самые, что Терезина послала ему во время его болезни. Он покраснел, его охватил стыд, и он полез в нагрудный карман пиджака, где лежал бумажник.

— Я приехал, тётка Марта, — сказал он торопливо, — ещё и затем, чтобы вернуть те деньги, что вы мне послали. Вы хотите, чтобы я отдал их? Вернул вам? Имеет ли это значение? Я вижу, что Терезина стала... мне кажется, будто королева! Вижу, что... никогда! Не стоит и мечтать больше! Но эти деньги, нет: я не заслужил этого от неё... Что же делать! Это конец, нечего и говорить о ней больше... Но деньги!.. Мне неприятно только, что здесь не все...

— Что ты такое говоришь, сыночек мой? — поспешила прервать его дрожащим голосом, со слезами на глазах тётка Марта.

Микуччио знаком попросил её помолчать.

— Их потратил не я; их потратили мои родители, когда я болел, без моего ведома. Но они были в нужде, после всех моих трат... Вы помните? Здесь ничего не поделаешь... Не будем об этом больше. Здесь то, что осталось. И я поеду.

— Но как! Так сразу? — воскликнула тётка Марта, стремясь его задержать. — Подожди, хотя бы, что скажет тебе Терезина. Ты не считаешь, что она захочет увидеть тебя снова? Я иду сказать ей...

— Нет, не нужно, — ответил Микуччио решительно. — Оставьте её там, с теми синьорами, там её место. Я беден... Я её увидел, с меня достаточно... Или лучше всё-таки идите... всё-таки идите туда... Слышите, как она смеётся? Я не хочу, чтобы она смеялась надо мной... Я ухожу.

Тётка Марта истолковала в самом худшем смысле неожидан-

ное решение Микуччио: как поступок негодования и ревности. Ей, бедняжке, казалось, что каждый — глядя на её дочь, — должен был заподозрить Терезину в чём-то дурном; и это заставляло тётку Марту безутешно горевать, влача, без покоя, с этой тайной скорбью, роскошную, полную суматохи, ненавистную ей жизнь, что бесчестила и покрывала позором её старость.

— Но я, — быстро сказала она, — я теперь не могу больше ничего сделать, чтобы защитить её, сыночек мой...

— Почему? — спросил Микуччио, глядя в её глаза с подозрением, которого до сих пор у него не было, и темнея лицом.

Пожилая женщина растерялась и спрятала искажённое страданием лицо в дрожащих руках, однако ей не удалось сдержать подступившие слёзы.

— Да, да, уезжай, сын мой, уезжай, — сказала она задушенным от рыданий голосом. — Это больше не для тебя, имей разум... Если бы ты меня слушал...

— Так, значит? — взорвался Микуччио, нависая над ней и силой отнимая её руки от лица. Но таким несчастным был её взор, которым она молила его о пощаде и сострадании, прижимая палец к губам, что он сдержался и добавил другим тоном, сиюсья говорить ровно:

— О, она, значит, она... не снизойдёт больше до меня. Хватит, хватит, я ухожу... Теперь я оставляю даже больше... Как глупо, тётка Марта: я до сих пор не понимал! Не плачьте... Что поделаешь? Судьба... Судьба...

Он подхватил чемодан, достал из-под стола мешок, и уже направился к выходу, когда вдруг вспомнил, что в мешке у него апельсины, которые он привёз Терезине с родины.

— О, смотрите, тётка Марта, — сказал он снова. Развязал мешок и, запустив в него руку, выложил на стол те свежие ароматные фрукты. — Что, если мне взять все эти апельсины, что я вёз для неё, да и швырнуть в головы тех благороднейших синьоров?

— Будь милосерден, — простонала пожилая женщина сквозь слёзы, жестом умоляя его замолчать.

— Нет, едва ли, — добавил Микуччио с кислым смешком, убиравая в сумку опустевший мешочек. — Оставляю вас в покое, тётка Марта. И будем считать, что долг уплачен... Хватит. Вам одной: живите хорошо... А ей скажите так: «Удачи!» — от моего имени.

Он снова подхватил чемодан и вышел вон. Но на лестнице мучительное чувство потери победило его: одинокий, брошенный в ночи, в чужом огромном городе, далеко от родных мест; разочарованный, униженный. Выйдя в дверной проём, он увидел, что снаружи льёт дождь, и не нашёл в себе мужества пуститься в путь по незнакомым улицам под этим дождём. Очень тихо он вернулся к подножию лестницы, потом опустился на первую ступеньку, упёршись локтями в колени и положив голову на руки, и тихо заплакал.

В конце ужина Сина Марнис вновь появилась в комнатке рядом с кухней, но обнаружила там только свою маму, которая плакала, в то время как там, в зале, синьоры смеялись.

— Он ушёл? — спросила она удивлённо.

Тётка Марта кивнула головой, не глядя на неё. Сина, задумавшись, устремила взгляд в пустоту, потом вздохнула:

— Бедняга...

— Смотри, — сказала ей мать, не сдерживая больше слёз. — Он привёз тебе апельсины...

— О, прекрасно! — воскликнула Сина радостно. Она прижала к себе несколько, и другой рукой захватила ещё, сколько смогла унести.

— Нет, только не туда! — отчаянно запротестовала мать.

Но Сина, передёрнув обнажёнными плечами, впорхнула в зал, провозглашая:

— Сицилийские апельсины! Сицилийские апельсины!